

К истории археологической мысли в России

(Платонова Н. И. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX — первая треть XX века. СПб.: Нестор-История, 2010. 316 с.)

В серии историй отечественной археологии наряду с основополагающими трудами А. А. Формозова и Г. С. Лебедева отныне займет свое место и труд Н. И. Платоновой (2010) «История археологической мысли в России», хотя он и представляется более ограниченным по хронологическому охвату и в содержательном аспекте, сосредоточиваясь на *истории археологической мысли*. В отличие от Формозова и Лебедева, Платонова рассмотрела только один большой период истории нашей науки, но зато рассмотрела детально и с акцентом на личностный вклад важнейших фигур археологии.

Период для освещения выбран рационально, охватывая пять десятилетий до революции и одно — полтора после революции. Это оправданно, потому что революция не внесла существенных изменений в идейное содержание археологических исследований, перелом наступил лишь на рубеже 20–30-х годов XX в. Большинство историографов не осмеливались положить главный водораздел в периодизации не на революцию. Теперь это сделано.

Библиография на 23 страницах включает ок. 500 единиц литературы и более полусотни архивных дел. Не использованной, как я мог углядеть, остается только американская «Энциклопедия истории археологии», но там в пяти томах к России относятся только мои статьи, а с моими взглядами Н. И. Платонова хорошо знакома по моим русскоязычным работам. Этот ее труд был в отрывках опубликован в 42 работах и теперь предстал перед нами в цельном виде.

Появился этот труд в самом конце 2010 г., практически в 2011. Название его частично совпадает с названием моего двухтомника по общей истории археологической мысли, но, хотя мой труд был написан за несколько лет до выхода в свет ее труда и известен автору, отмечать это совпадение автору было незачем: мой труд повторяет название труда Брюса Триггера, гораздо более раннего. Просто в истории археологической науки всё больше на первый план стала выходить теоретическая составляющая — история археологической мысли.

Мне вроде бы несколько неудобно выступать с предлагаемой рецензией ввиду того, что я значусь «внутренним» рецензентом самой книги на обороте титульного листа, но мое одобрение книги к выпуску не исключает ни публичной оценки труда, ни некоторых разногласий с автором. История археологической мысли всегда в той или иной мере прослеживалась в работах по истории археологии (особенно в книгах Формозова и Лебедева, а за рубежом — в книгах Дэниела), но как отдельное направление исследований ее выделил Брюс Триггер, и мы подхватили его инициативу. Платонова перенесла ее на изучение отечественной археологии, я — использую в изучении мировой археологии (Клейн 2011). Этот аспект археологической историографии наиболее сближает ее с историографией других дисциплин: материалы и обстоятельства у нас разные, но движение мысли схоже.

Это движение Н. И. Платонова рассматривает деленным по двум направлениям: гуманитарному и естествоведческому. В археологии она усматривает оба аспекта. У меня есть сомнение на сей счет. Исследовательница отмечает (с. 17), что Клейн разрабатывал понимание археологии как источниковедческой науки. На мой взгляд, археология, являясь искусствоведческой и в большой мере прикладной наукой, находится, пожалуй, вне деления на гуманитарные и естествоведческие (если под этим не понимать социальные и природные), а вот тесно с ней связанная преистория (как и ранняя история) действительно находится на пересечении тех и других. Но Платонова вправе предпринять деление на эти два цикла хотя бы потому, что в период, охваченный ее исследованием, археология воспринималась именно так — как наука то ли гуманитарная, то ли естествоведческая.

Исследовательница много поработала в архивах и раскопала много не известных ранее материалов о взглядах ряда крупнейших археологов, кроме того, она вытащила на свет забытые фигуры, которые забвения не заслуживали. Общее течение археологической мысли теперь выглядит во многом иначе, чем это представлялось еще недавно, по-новому, и это основное достоинство ее работы.

Так, хорошо показаны теоретические взгляды Лаппо-Данилевского и их значение для археологии. Обратившись к рукописным наброскам и планам лекций А. А. Спицына, Платонова показала его теоретические идеи по многим вопросам археологии. Оказалось, что именно ему принадлежат взгляды на археологию как часть истории (позже это идея Арциховского) и как историю материальной культуры (взгляды Равдоникаса) — в противоположность включению археологии в антропологический цикл наук (взгляды Петри и Анучина). Чрезвычайно детально разработана роль Бонч-Осмоловского в отечественной археологии по архивным материалам, не известным ранее (здесь Платоновой помогло семейное родство). Обращено внимание на такого археолога XIX в., как П. В. Павлов — он высказывал воззрения, опережающие время, но обычно оставался в тени. Точно так выпукло показана фигура барона Розена, важная для восточной археологии. Совершенно новаторски оценена личность многолетнего руководителя отечественной археологии акад. Марра. У нас после сталинского дезавуирования «нового учения о языке» было принято с легкой руки Арциховского считать Марра никудышным археологом (признаюсь, и я верил Арциховскому в этом), а Платонова показала, что в археологии Марр работал профессионально, а как организатор имел дарования. Это не исключает бредовости его идей о языке и основанных на этом построений в изучении культуры.

Хочется отметить очень тонкое наблюдение Платоновой в освещении такой сложной фигуры, как Равдоникас. Она подметила (с. 27–28), что его оговорки и частные оценки в известной работе 1930 г. совершенно не гармонируют с его выводами о деятелях дореволюционной археологии. Выводы уничтожающие, а частные оценки демонстрируют высокое уважение. Это говорит о том, что в целом работа Равдоникаса — ангажированная, сделана по «социальному заказу».

Уже это показывает, что объемистый труд Н. И. Платоновой выполнен на высоком профессиональном уровне и имеет важное значение для нашей дисциплины. Но интерес работы повышается еще и тем, что Н. И. Платонова затронула ряд спорных сюжетов, по некоторым вопросам вступила в полемику

с другими историографами, в том числе и со мною, и было бы странно, если бы я не изложил свои возражения по этим вопросам. Разумеется, разногласия со мною никак не говорят о негодности труда, ведь я могу оказаться неправым — как в вопросе о Марре. Но, возможно, и Платонова пересмотрит некоторые свои утверждения.

Платонова с энтузиазмом заимствовала у Томаса Куна понятие парадигмы следом за Г. С. Лебедевым. Она признает мою критику этого сюжета у Лебедева. Тогда почему же она оставляет понятие парадигмы у себя и говорит, что оно соответствует реалиям (с. 14)? Одно из двух — или признавай пригодность понятия, но тогда мотивированно отбрасывай мою критику его, или признавай мою критику, но тогда нужно как-то разделаться с понятием.

Некоторые недоумения у меня вызывает трактовка научной школы (с. 17–19). Платонова пишет, что есть не менее 30 определений этого понятия и излагает свое понимание — как 31-е, что ли? Но это мне кажется не совсем научным подходом. Уж коль скоро упомянуто обилие трактовок, то надо бы либо рассмотреть их и выбрать из них оптимальную для данного исследования, либо по крайней мере, мотивировать свою, показав ее отличия от других. Насколько я понимаю, из всех трактовок две являются основными: 1) школа как учитель + ученики и 2) школа как лидер + последователи. Можно для исследования предпочесть первую, скажем, потому, что для второй есть и другой термин — «течение». Но в тексте диссертации автор то трактует научную школу в одном смысле (школа Городцова, Спицына), то в другом (школа как подход).

Странно для меня привлечение взглядов эмигранта Н. И. Ульянова для деления истории на основные течения (с. 15–16). Дело не в том, что он эмигрант (это теперь никого не смущает), и даже не само привлечение странно, а его подача. Взгляды Ульянова подаются как новация — деление истории на 1) выявляющую закономерности и 2) основанную на уникальности фактов. Что же здесь нового? Это старое деление методологии истории на детерминизм и индетерминизм. Детерминистскими были позитивизм, гегельянство, марксизм, индетерминистским было неокантианство. Различение истории с социологией (и социологической историей) тоже основано на этом. Социология выявляет законы, и факты у нее взаимозаменяемы; история исследует причинно-следственную связь фактов, для истории факт уникален и незаменим, она видит в одном факте проявление разных законов. Если уж хочется сослаться на Ульянова, то разве как на последнее яркое изложение этой тенденции.

Первая глава рассматривает, как представлена периодизация отечественной истории у разных исследователей. Мне кажется, это не столь уж важный сюжет для начала исследования, потому что он не самый принципиальный. В конце концов, разные периодизации нетрудно совместить. Но периодизация чего? Это зависит от концепции археологии. Значительно важнее различия в концепции археологии, в понимании ее предмета, задач, методологической природы. Платонова говорит об этом, но мимоходом. Спор между искусствоведческим и вещеведческим или общекультурным подходом укладывается в эти рамки. Спор этот в Германии начал Герхард в 30–50-е годы (археология как монументальная филология), развил Преллер, и любопытно было бы проследить, отразились ли взгляды Герхарда на взглядах Уварова, который учился в Берлине, как раз когда Герхард там преподавал. Кстати, совершенно упущено,

что Уваров начинал не как первобытный археолог, а как античник. По мнению Платоновой, «влияние позитивистских идей на его творчество было минимальным» (с. 82), но какое течение сказалось на его творчестве исследовательница так и не указала, а это романтизм. Его интерес к народам и курганам, как и вообще в этот исторический период у многих археологов во всем мире, был несомненно отражением идей романтизма. Это понятие в книге Платоновой отсутствует.

Теперь нужно остановиться на определении дореволюционной археологии, как основанной на эмпиризме. Н. И. Платонова указывает (с. 28–31), что все — от Михаила Миллера до Клейна — придерживаются этого представления, а оно, мол, неверно, и только Формозов выступал в защиту дореволюционной археологии.

Мне представляется, что это недоразумение, основанное на смешении терминов. Михаил Миллер действительно не понимал сути концепций и зависел от словесной критики археологии советскими идеологами. Эмпиризм для него, как и для них, — описательность, вещеведение. Для меня же эмпиризм — это господство эмпирического метода, обобщения, индукции в противоположность рассуждению от теоретических положений. Я это детально раскрывал в своей статье об эмпиризме в археологии, затем повторенной в моем «Введении в теоретическую археологию» (Клейн 1977, 2004). Я и сейчас считаю, что в дореволюционной археологии этот метод господствовал. А что — нет? Это вовсе не противоречит тому, что какие-то теории разрабатывались, были теоретические взгляды — хотя бы теория эмпирического метода! Я сам выдвигал Городцова, Кондакова в лидеры и фигуры мирового масштаба, имея в виду их теоретические концепции.

Что до Формозова, то, по Платоновой, он больше работал на позитивистских основах, а это как раз эмпирический метод. Мои разногласия с ним были больше всего о применимости теории в археологии (он был против), и об оценке археологов типа Равдоникаса и Кипарисова (он совсем отрицал пользу от них). Пафос Формозова — Россия, которую мы потеряли. Мы, конечно, огромное богатство потеряли, но кое-что и приобрели. Однако это за пределами темы труда Платоновой: хронологически только раннесоветский период попадает в круг ее занятий.

В общем, по задачам своей книги Платонова примыкает к основной цели Формозова: показать, что российская дореволюционная археология была значительно сильнее и выше, чем ее оценивала советская историография. Но Формозов считал, что дореволюционная археология была гораздо лучше советской, оставаясь бестеоретической (по Формозову, оно и лучше), а Платонова считает, что археология царской России вместе с раннесоветской (несмотря на все уродства советского общества) обладала теоретическими взглядами и обе они были всё же лучше того, как их представляют в постсоветской историографии и даже вполне сопоставимы с зарубежной археологией.

Что можно по этому поводу сказать? Обычное противопоставление российской археологии всей зарубежной надуманно и является переносом советского изоляционизма на дореволюционную Россию. Каждая страна имеет разные периоды развития археологии. В разные периоды и по разным показателям то одна, то другая страна вырывалась вперед других — то это была Италия

(период Возрождения), то Англия, то (по палеолиту) Франция, то Швеция и Дания, то США. Вряд ли можно выделить период, в который Россия в досоветское время была бы впереди других стран по существенным показателям развития археологии, хотя отдельные ученые (Городцов, Кондаков, Ростовцев) оказывались в числе лидирующих в мире. За советское время наша археология, разумеется, далеко отстала по многим показателям, что и отметил с горечью ее симпатизер Гордон Чайлд в своем предсмертном «циркулярном» письме советским археологам, хотя позже по количеству экспедиций мы, возможно, оказались «впереди планеты всей».

Теоретическими концепциями дореволюционная археология несомненно обладала. Я так же, как Платонова, их выделял — взгляды Городцова, Кондакова, Ростовцева, — но она более детально разработала наследие нескольких ученых — Спицына, Павлова, Лаппо-Данилевского. Ни подробно разработанными в печати (за исключением Лаппо-Данилевского), ни повлиявшими на мировое развитие археологии взгляды этих выделенных ею ученых не были. Раннесоветские теории, напротив, повлияли (через того же Чайлда), но не были доведены до солидной профессиональной разработки на родине — они были искажены, оборваны и подавлены в самом начале.

От Лаппо-Данилевского Н. И. Платонова взяла термин «национальная археология». У Лаппо-Данилевского это была часть тройственного деления археологии (классическая, национальная, эволюционная). Платонова использовала термин несколько в ином ключе. Именование группы Сахаров — Уваров — Забелин «национальным направлением» в археологии представляется мне неудачным. А что, Буслаев уже не причастен к «национальной археологии»? (Он у Платоновой отнесен к другой группе.)

Мне кажется, исследовательница смешала тут два понимания концентрации на отечественных древностях: 1) «национальное чувство», доходящее до «ультрапатриотизма», — это тяга к своим предкам и наделение их всевозможными достоинствами, пусть и надуманными (Сахаров), и 2) интерес к отечественным древностям вне зависимости от этноса (Уваров) — это интерес к первобытной археологии в противовес античной. Еще важнее смещение между «национальным направлением» и сосредоточением на этнических границах и спорах. «Национальное направление», связанное с национальным подъемом, бывало везде, во всех странах — в том числе и в Дании, Англии, Франции. Естественно видеть его и в России (только в другое время). Что же до концентрации на этносах, этнических культурах, этнических границах, то, что Триггер называет «культурной археологией», — это специфика восточной половины Европы.

Это к спору Н. И. Платоновой с С. А. Васильевым (с. 40–41). Я отмечаю в своей «Истории археологической мысли», что такое деление Европы пополам связано с более быстрым развитием капитализма в Западной Европе. Поэтому там в последние десятилетия XIX в. господствовал эволюционизм и лидерами были Мортилье и Питт Риверс. А в Германии, Австро-Венгрии и России, более консервативных и занятых имперско-территориальными заботами, были только ростки эволюционизма. Тут господствовал интерес к этническим границам, к археологическим культурам: диффузионизм, миграционизм и т. п., и властями дум археологов были Вирхов и Ратцель.

Я думаю, именно с этим размещением России на карте мысли можно связать появление палеоэтнологической школы (или школ). Ее связь с эволюционной концепцией обманчива. От Мортилье был взят только термин для названия, но использован в совершенно другом ключе. Недаром впоследствии коньком почти всех выходцев из этой школы (Артамонов, Третьяков, Пиотровский, Толстов) стала не эволюция, а этногония, этногенез.

Странно выглядит изложение концепции академика К. М. Бэра (в основном середины XIX в.) и его противопоставление Дарвину. Как пишет Платонова, «накопление мелких изменений, с точки зрения самого Бэра, не могло повести к образованию новых видов. Естественный отбор не в силах объяснить морфогенез... Те изменения, которые реально могли быть прослежены на домашних животных, всегда совершались в рамках одного вида, а потому несущественны. Если же запрограммированный “образовательный процесс” эмбрионального развития почему-либо нарушается, то это ведет не к образованию новых видов, а к остановке всего процесса или к образованию уродов...». Это изложение взглядов Бэра завершается категорическим суждением самой Платоновой: «С высоты нашего времени приходится констатировать: в данных вопросах К. М. Бэр оказался куда более дальновиден, чем его “прогрессивные” современники, всецело захваченные идеями дарвинизма и спенсерианства» (с. 61).

Приходится пожалеть, что в рамках смежной (не своей) профессии исследовательница поддалась модным у нас ныне нападкам на «устаревший» дарвинизм и поверила его креационистским критикам. Нет, современная биология развивается и прогрессирует именно на основе дарвинизма, устраняя его недоработки и слабости. Гены как материальные носители наследственности и их мутации стали известны уже после Дарвина и отлично уложились в идеи дарвинизма. Действительно, в организмах работает механизм стабилизации, создающий нормы и устраняющий результаты вредных мутаций (делающий радикальных мутантов нежизнеспособными уродами). Но это в стабильных условиях. При кардинальной смене (или резком изменении) среды обитания именно мутировавшие формы оказываются перспективными и среди них находятся наиболее успешные потомки, способные к продолжению рода. Нормы есть в массе, а новые виды рождаются из исключений. Из удачных уродов. Из сбоев механизма стабилизации.

В биологии Бэр был на пути к эволюционизму, а в культурной антропологии был, несомненно, диффузионистом и миграционистом (с. 64).

Платонова и дальше стремится «уязвить» дарвинизм, например, с симпатией приводя высказывания Кропоткина о тщетных попытках увидеть внутривидовую борьбу (с. 131). Между тем, не стоит искать ее наглядное воплощение в драках (хотя и тут можно было бы привести повсеместные стычки самцов за самок), но совершенно ясно, что каждое животное конкурировало с особями своего вида за ниши обитания, за пищевые ресурсы. Это становилось особенно ясно при достижении перенаселенности.

О Спенсере Платонова пишет, что «им разрабатывалось, в частности, приложение идей дарвинизма (естественного отбора) к истории человеческого общества» (с. 131), т. е. закладывались основы так называемого социал-дарвинизма. Это полный нонсенс. Спенсер выдвинул свои идеи, когда никакого

дарвинизма еще не было. Это Дарвин заимствовал термин «борьбы за существование» у Спенсера.

Вслед за Триггером Платонова склоняется к некоторому слиянию системы трех веков с эволюционизмом (с. 71). Но эволюционизм предполагает преемственное постепенное развитие. Этого совершенно не было у Томсена и Ворсо: смена культур у них разовая и в основном миграциями. Общий прогресс? Это не эволюция.

Мне представляется неверным представлять Городцова (с. 200, 202, 205, 211–212) как создателя типологического метода (это распространенная ошибка). Типологический метод, как его сформулировали Монтелиус и его соперник Софус Мюллер, это есть установление преемственности (и относительной хронологии) по выстраиванию типологических рядов с проверкой их параллельности совпадением в разных звеньях. И только! Чтобы избежать путаницы, есть смысл только это называть типологическим методом. Ничего этого у Городцова нет. У него есть просто классификация (которую он назвал типологией, тоже без оснований). Да, классификация разработана изолированно. Образцом для него был не Монтелиус, а Линней. Свою статью о законах формирования орудий и т. п. Городцов назвал «Типологический метод», потому что что-то про него слышал. Он же языков не знал, университетского образования не имел. Не будем путать классификацию с типологией, а типологию с типологическим методом. Жесткость канонической схемы Городцова и его учеников снимается не делением на культурный и эмпирический типы (это здесь не при чем), а различием типологии и классификации, монотетического и политетического подходов.

По своим убеждениям Городцов был диффузионистом (с этой идеей познакомился в юности, читая Анучина). Эта идея у него проходит через основные построения. Очень любопытно, что через нее Городцов пришел к своим классификациям — точно, как в Америке таксономисты, построившие свои концепции на диффузии Боаса.

Вообще, мне кажется, в книге недооценена роль традиционных концепций диффузионизма и миграционизма в России. Очень примечательно, что Спицын построил расселение русских племен по височным кольцам в точности как Косинна — свое деление германцев на восточных и западных по конечникам копий (1905), но раньше (1899).

К техническим недостаткам книги я бы отнес отсутствие указателей, в историографическом труде необходимых. Все эти критические замечания и возражения относятся к частным и нередко спорным вопросам, так что не отменяют моей положительной в общем оценки и восхищения результатами. Налицо очень полезный и интересный труд.

Литература

- Клейн Л. С.* 1977. К оценке эмпиризма в современной археологии // Проблемы археологии и этнографии. Вып. 1. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 13–22.
- Клейн Л. С.* 2004. Введение в теоретическую археологию. Книга I. Метаархеология. СПб.: Бельведер.
- Клейн Л. С.* 2011. История археологической мысли. Т. I–II. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та.